

О ЧЕМ ЭТА КНИГА?

История становления личности юного дворянина, поэта Алексея Арсеньева, от младенчества до зрелости. Первые воспоминания и впечатления, учеба в гимназии, первые влюбленности — в крестьянку и соседку, познание смерти, иллюзии и увлечения, путешествия. Из всех этих осколков Бунин воссоздает быт России XIX века и подводит итог всей русской литературе этого периода.

КОГДА ОНА НАПИСАНА?

Бунин начал работу над «Жизнью Арсеньева» летом 1927 года, в переломный момент своей жизни: за несколько месяцев до этого он познакомился с писательницей Галиной Кузнецовой, которая стала его ученицей и фактически второй женой, при живой Вере Муромцевой-Буниной. Кроме того, в начале того же года у Бунина впервые появился собственный дом — вилла в Грасе на юге Франции.

Кузнецова вела в своем дневнике достаточно подробную хронику работы над «Арсеньевым»: из ее записок мы знаем, что 9 ноября 1927 года была окончена работа над первой частью романа. В 1933-м была написана финальная, пятая часть — об отношениях Арсеньева с его возлюбленной Ликой.

Фактически, однако, работа над книгой началась гораздо раньше. По свидетельству Веры Муромцевой, впервые Бунин признался, «что он хочет написать о жизни, в день своего рождения, когда ему минуло 50 лет, — это 23 (10) октября 1920 года»¹. Уже в 1921 году появляются первые наброски к роману — «Безымянные записки» и «Книга моей жизни». Подступом к роману можно считать и «Цикад» (1926) — произведение сложной жанровой природы, которое критик определял как «лирическую поэму в прозе»².

КАК ОНА НАПИСАНА?

Еще первые читатели «Жизни» замечали, что в ней наиболее отчетливо видны все узнаваемые элементы бунинской прозы. Пристальное внимание к деталям, оживляющие их неожиданные эпитеты, максимально субъективная передача красок и запахов. Зимняя дорога пахнет «лошадиной вонью, мокрым енотовым воротником, серником и махоркой при закуриванье», а кухня — «жирной горячей солониной и ужинающими мужиками». Небо усеяно «белыми, синими и красными пылающими звездами», море — «купоросно-зеленое».

«Жизнь Арсеньева» делится на пять книг: каждая связана с определенным этапом взросления героя. В первой — ранние впечатления, и составлена она

из пейзажей, описаний и самых смутных воспоминаний. Вторая посвящена учебе Арсеньева в гимназии — и здесь на смену природе, цветам и краскам приходит быт: дом небогатого мещанина Ростовцева, в котором живет главный герой, обстановка провинциального города и его гимназии. Третья часть — рассказ о первых влюбленностях. Четвертая — своеобразный травелог, описание путешествий героя по России. Пятая, «Лика», и вовсе отдельный рассказ, во многом похожий на будущие «Темные аллеи»: скупое и вместе с тем откровенное повествование о любви.

При этом темы не разграничены строго по главам, а плавно сменяют

друг друга. Описания природы из первой части составляют начало второй, любовные линии третьей открывают четвертую, встреча с Ликой, главным персонажем пятой части, происходит в финале четвертой.

Еще одна особенность стиля «Жизни» — монологичность повествования. Хотя уже из названия следует, что автор и герой — не одно лицо, основной массив текста — это не только воспоминания, но и рассуждения Арсеньева о русской литературе и истории, о характерах, о модах и событиях, о человеческих типах и переменах в быту. Перед нами что-то вроде заметок на полях автобиографии — и именно они превращают исповедь



Михаил Клодт. Вечерний вид в деревне. Орловская губерния. 1874 год

главного героя в нечто большее: роман о мире, который навсегда ушел и сохранился только в воспоминаниях.

ЧТО НА НЕЕ ПОВЛИЯЛО?

Тексты, повлиявшие на «Жизнь Арсеньева», названы в самом романе: Бунин открыто указывает на них в лирических отступлениях о русской литературе XIX века. Важную роль в сюжете играют стихи Пушкина («...Как часто сопровождал я им свои собственные чувства и все то, среди чего и чем я жил!»), Лермонтова («Какой дивной юношеской тоске... отвечали эти строки, пробуждая, образуя мою душу!»), романы Толстого и Тургенева. Владислав Ходасевич, правда, ставил «Арсеньева» выше тургеневских романов: «Вся его вода, весь сахар... отделены и удалены».

Другие источники влияния еще очевиднее. «Жизнь Арсеньева» завершает длинную традицию беллетризированных мемуаров или автобиографических романов из жизни русского помещичьего дворянства: можно вспомнить «Детские годы Багрова-внука» Сергея Аксакова, «Детство», «Отрочество» и «Юность» Льва Толстого и написанное за десять

лет до «Арсеньева» «Детство Никиты» Алексея Николаевича Толстого, с которым Бунина связывали сложные отношения симпатии и отвращения (встретившись в 1936 году в Париже с нобелевским лауреатом, «советский граф» приветствовал его словами: «Можно тебя поцеловать? Не боишься большевика?»).

КАК ОНА БЫЛА ОПУБЛИКОВАНА?

«Жизнь Арсеньева» публиковалась частями с 1927 по 1929 год в «Современных записках», одном из самых заметных изданий русской эмиграции. Фактически миссией журнала было объединение всех антибольшевистских сил. В нем публиковались не только литераторы самых разных взглядов (как «почвенники» Иван Шмелев и Борис Зайцев^{*1}, так и декадентский классик Дмитрий Мережковский), но и политики, например глава кадетов Павел Милюков и экс-глава Временного правительства Александр Керенский. Первая часть «Жизни» появилась в конце 1927 года, четвертая — осенью 1929-го, причем и автор, и читатели не считали роман оконченным.

^{*1} Борис Константинович Зайцев (1881–1972) — писатель. Был участником литературного кружка «Среда». Приятельствовал с Буниным. В 1922 году получил разрешение выехать за границу для лечения и не вернулся. За границей работал в журналах «Современные записки», «Перезвоны», газетах «Возрождение» и «Русская мысль». Автор повестей, романов, сборников рассказов, пьес, мемуаров и литературных биографий писателей — Тургенева, Жуковского, Гоголя, Чехова и Тютчева.

Рассказ «Лица», согласно дневникам Кузнецовой, изначально планировался как продолжение «Жизни Арсеньева», но опубликован был в 52-й и 53-й книгах «Записок» за 1933 год как самостоятельное произведение. Не вошел он и в напечатанный в том же году английский перевод «Арсеньева». Бунин включил его в роман только в 1939 году, когда роман вышел по-русски отдельным изданием.

КАК ЕЕ ПРИНЯЛИ?

Уже первую книгу «Жизни Арсеньева», опубликованную в «Современных записках», многие критики оценили как важнейшее произведение Бунина, его *opus magnum*. Владимир Вейдле в парижской газете «Возрождение» назвал его «самой исчерпывающей, самой полной, окончательной в известном смысле книгой». Кроме того, почти все рецензенты особо отмечают тесную связь романа с русской классикой. Владислав Ходасевич, тот же Владимир Вейдле, Марк Алданов^{*1}, так или иначе, строят свои отзывы на сравнениях «Арсеньева» с романами Тургенева, Толстого и Достоевского. Критик

парижской газеты «Сегодня» Петр Пильский идет дальше: он утверждает, что русская литература — ключевая тема романа. «Жизнь Арсеньева», полагал он, о том, что классическая русская литература и мир, который она описывала, нигде не исчезли: «Ни у кого больше нет такой... уверенности, что нить мира непрерывна». Более того, Пильский ставит «Жизнь» выше автобиографических произведений Аксакова или Толстого: «они односторонние», а «Арсеньева» отличается полифоничностью, он выходит далеко за рамки собственно автобиографической или мемуарной прозы.

В то же время даже критики, близкие кругу Бунина, например Юлий Айхенвальд, отмечали некоторую тяжеловесность стиля: «Поистине драгоценную ткань разостлал перед нами Бунин, но ткань эта тяжела. <...> Его новому детищу не хватает легкого дыхания» (в последней фразе критик обыгрывает название бунинского рассказа). Некоторые единомышленники Бунина восприняли финальную часть «Арсеньева», «Лику», неоднозначно. Скажем, в дневниках Ивана Шмелева встречается грубый отзыв о публикации — он называет ее провалом и выносит суровый приговор Бунину: «Его

^{*1} Марк Александрович Алданов (1886–1957) — писатель, философ. В России занимался химией, выпустил книгу о Льве Толстом. В 1918 году эмигрировал, до начала войны жил в Берлине и Париже. Печата́л в газете «Последние новости» исторические очерки, писал исторические романы. В 1940 году переехал в США, там работал в «Новом журнале», газете «Новое русское слово» и Издательстве имени Чехова. Дружил с Буниным и Набоковым. Алданова 13 раз выдвигали на Нобелевскую премию по литературе.

надо судить» (видимо, Шмелева смутила откровенность финальной части «Арсеньева»).

На восприятие романа серьезно повлияли споры и слухи о том, кому из русских литераторов присудят Нобелевскую премию по литературе. Всерьез рассматривалось два кандидата: Бунин и Мережковский. В дневниках Галина Кузнецова упоминает, что отношения двух влиятельных литераторов обострились почти до состояния настоящей войны. Пишет она и о том, что Мережковский неодобрительно высказывается о «Жизни Арсеньева». Но нигде, кроме этих записок, высказываний Мережковского о романе не сохранилось.

Несмотря на культурную изоляцию СССР, роман читали отдельные литераторы и в Советском Союзе — правда, отзывы своих не публиковали. Тем показательнее дневниковая запись драматурга Александра Афиногенова^{*1}: «Иссыхает воображение писателя вдали от родной страны... <...> ...Порой его краски снова играют, но именно порой... <...> ...Злобно клеветает на передовое студенчество, на революционные кружки, на рабочих и на всех тех, кто действительно жил особой жизнью...»

^{*1} Александр Николаевич Афиногенов (1904–1941) — драматург. Автор пьес «Чудак» (1928), «Ложь» (1933), «Машенька» (1940). В начале 1930-х годов руководил РАПП. В 1937 году Афиногенов был исключен из партии, но затем восстановлен. Погиб в Москве во время бомбежки.

^{*2} Бабетта Дейч (1895–1982) — поэтесса, критик, переводчица. Преподавательница Колумбийского университета. Жена переводчика и слависта Авраама Ярмолинского. Дейч переводила с русского на английский язык — стихи Пастернака и Есенина, пушкинского «Евгения Онегина». Переводы Дейч жестко критиковал Корней Чуковский: «Я только сейчас удосужился просмотреть перевод моего “Крокодила”, сделанный Бабеттой Дейч. Эта женщина меня зарезала».

ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

На судьбу романа огромное влияние оказало присуждение Бунину Нобелевской премии в 1933 году. «Жизнь Арсеньева» была издана на основных европейских языках — правда, под измененным и, если угодно, прямо противоположным оригинальному названием «К истокам жизни». Если русское заглавие указывает на то, что роман — биография вымышленного героя, то переводное скорее намекает на мемуарный жанр. Перевод на английский выполнил Глеб Струве в соавторстве с Хэмишем Майлсом. Британская и американская критика приняла «Истоки» холодно: суть всех отзывов сводилась к тому, что это просто достойная книга лауреата Нобелевской премии, известного по старому рассказу «Господин из Сан-Франциско». Бабетта Дейч^{*2} из *New York Herald Tribune* вовсе с самого начала припечатала «Арсеньева»: «Романом эту книгу можно назвать лишь из вежливости».

Отдельный казус произошел с французским переводом, изданным в 1935 году. Выполнил его Морис Парижанин (псевдоним Мориса Донзеля) — он же был переводчиком Троцкого и Ленина,

журналистом коммунистической газеты *L'Humanité*, а кроме Бунина переводил исключительно советских авторов: Бабеля, Фадеева и Серафимовича. Если учесть не только отношение Бунина к лидерам большевизма (высказанное в «Окаянных днях»), но и принципиальное неприятие любой советской литературы, его сотрудничество с Парижанином выглядит как минимум парадоксально.

Сам Бунин тем временем не считал роман оконченным и на протяжении нескольких лет обдумывал идею продолжения. Александр Бабореко в своей книге о Бунине приводит цитату из его записных книжек, в которой даже

указывается, что будет с Арсеньевым дальше: «Вот молодой человек: ездит, все видит, переживает войну, революцию, а затем и большевизм, и приходит к тому, что жизнь выше всего, и тянется к небу». Так или иначе, к роману Бунин больше не возвращался.

В Советском Союзе роман впервые вышел в составе девятитомника Бунина в 1966 году и с тех пор много раз переиздавался. В 2000 году Алексей Учитель снял по сценарию Авдотьи Смирновой фильм «Дневник его жены» — о драматических отношениях внутри любовного треугольника в доме Бунина, приходящихся на время создания романа.



Галина Кузнецова, Вера Муромцева и Иван Бунин
на церемонии вручения Нобелевской премии. Стокгольм, 1933 год

БУНИНУ ДАЛИ НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ ЗА «ЖИЗНЬ АРСЕНЬЕВА»?

В литературе о Бунине часто встречается утверждение, что Нобелевскую премию писатель получил именно за «Жизнь Арсеньева». Формально это не так: официальная формулировка комитета — «За строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы». Кроме того, о возможности его награждения говорилось задолго до публикации «Арсеньева»: еще в 1920-е годы в эмигрантской среде велись споры о том, кто из русских писателей станет первым лауреатом. Наиболее вероятным кандидатом считался Максим Горький, кроме него и Бунина всерьез говорилось о возможности награждения Александра Куприна и Дмитрия Мережковского.

Надо заметить, что политической составляющей в решении Нобелевского комитета не было — Бунина наградили не в пик советской литературе. Все споры о премии сводились к одному вопросу: кто из литераторов (Горький, Куприн, Мережковский или автор «Жизни») наиболее достоин получить премию за сто лет русской литературы. Так, чтобы это была премия одновременно и Толстому, и Чехову, и Достоевскому, и Тургеневу. В этом смысле «Жизнь» только продемонстрировала, что Бунин — идеальный кандидат на такую роль.

«ЖИЗНЬ АРСЕНЬЕВА» — ЭТО РОМАН ИЛИ АВТОБИОГРАФИЯ?

И сам Бунин, и первые критики романа не рассматривали его как автобиографию. Владислав Ходасевич в своей рецензии определял «Арсеньева» как «вымышленную автобиографию», то есть попытку отдать свои воспоминания и переживания другому персонажу.

Тем не менее автобиографические мотивы в романе важны и заметны. Арсеньев движется по тому же пути, что и Бунин: бросает гимназию, работает в провинциальной газете, путешествует, переживает роман с коллегой по редакции. Важность собственных воспоминаний отмечает в дневниках и Галина Кузнецова: Бунин, по ее словам, «так погружен в восстановление юности, что глаза его не видят нас».

У многих героев «Жизни Арсеньева» есть узнаваемые прототипы, автобиографичны многие факты и детали. Хутор Каменка, где рос Арсеньев (одинокая усадьба среди пустынных полей, где «зимой безграничное снежное море, летом — море хлебов, трав и цветов»), списан с хутора Бутырки Елецкого уезда, где протекало детство Бунина. Бабушкино имение Батурино — это Озерки, бунинское родовое гнездо. Запивающий временами отец героя, игрок, промотавший состояние, оборонявший Севастополь в Крымскую кампанию, азартный,

вспыльчивый и беспечный усадебный дворянин, — портрет отца писателя. Братя Бунина — Юлий, народоволец, арестованный по доносу соседа, и трудолюбивый Евгений — выведены в романе как Георгий и Николай Арсеньевы. Прототип несчастливой и чудаковатой домашней учительницы Баскакова в реальности носил фамилию Ромашков, а помещик Ростовцев, у которого живет нахлебником Арсеньев, поступив в гимназию, — Бякин. Автобиографической основой романа Арсеньева с Ликой были отношения самого Бунина с Варварой Пашенко³.

Но память о юности — лишь часть поэтики романа, пусть и важная. Один из самых внимательных читателей Бунина, Федор Степун, указывал на функцию автобиографических мотивов в «Арсеньеве»: именно воспоминания писателя о детстве и юности создают эффект одновременно живой и ушедшей реальности. Он отмечает «некое непередаваемое словами звучание тверди небесной, той тверди духовной, под которой развертываются судьбы России и судьба Арсеньева. С этой музыкой сфер сливаются воспоминания Арсеньева не только о своих предках, не только о раннем влиянии на него великих зачинателей новой русской культуры, но и о гораздо более древних звуках, неизвестно как дошедших до мальчика».

Самый внятный ответ на вопрос об автобиографичности «Жизни Арсеньева» дала вдова писателя Вера

Муромцева-Бунина: «Конечно, в “Жизни Арсеньева” очень много биографических черт, взята природа, в которой жил автор, но все художественно переработано и подано в этом романе творчески, и, может быть, подано так потому, что автору хотелось, чтобы это было так в его жизни».

Юрий Мальцев в своей биографии Бунина отмечает родство «Арсеньева» с «Поисками утраченного времени». Правда, с поправкой на то, что цикл романов Пруста Бунин прочел, уже написав первые части собственной книги. Родство их, по словам Мальцева, заключается в том, что обе книги не пытаются пересказать или реконструировать события — они заняты феноменом памяти вообще. «Жизнь Арсеньева», пишет Мальцев, — это «не воспоминание о жизни, а воссоздание своего восприятия жизни и переживание этого восприятия»⁴.

Любопытно, что на папке с рукописью «Арсеньева» жанровое определение «роман» написано в кавычках. О желании «начать книгу, о которой мечтал Флобер, “Книгу ни о чем”, без всякой внешней связи, где бы излить свою душу, рассказать свою жизнь, то, что довелось видеть в этом мире, чувствовать, думать, любить, ненавидеть» Бунин писал в дневнике 27 октября — 9 ноября 1921 года: именно в это время писатель делает первые наброски к будущей «Жизни Арсеньева».

«ЖИЗНЬ АРСЕНЬЕВА» — РОМАН ВОСПИТАНИЯ?

С точки зрения сюжета «Жизнь» можно отнести к жанру романа воспитания: здесь действительно рассказана история становления и взросления главного героя. Но есть одно важное отличие. Классический роман воспитания рассказывает о том, как сама жизнь, череда событий, с которыми сталкивается герой, формируют его личность. Дэвид Копперфилд Диккенса через лишения и унижения приходит к успешной литературной карьере. Фредерик Моро из «Воспитания чувств» и Александр Адуев из «Обыкновенной

истории» Гончарова переживают крах иллюзий и юношеского романтизма, становятся обывателями. В этом смысле с Арсеньевым ничего не происходит. Его не обманывают, он не оказывается жертвой интриг, не вынужден предавать свои идеалы. Главное в его воспитании — впечатления от книг, путешествий и встреч. Чтение Пушкина и Лермонтова, наблюдения за природой и похоронами помещиков, влюбленности в коллег, крестьянок и жительниц соседних имений. Но в первую очередь — игра света в цветных стеклах окон родного дома, цвета полей и неба, запахи садов и городов, которые молодой литератор Арсеньев и описывает.



Гимназисты. 1900-е годы.

Во второй части «Арсеньева» герой без объяснения причин бросает гимназию

ПОЧЕМУ ФАМИЛИЯ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ АРСЕНЬЕВ?

В фамилии главного героя Бунин зашифровывает одну из важных тем романа — его связи с классической русской литературой. Арсеньева — фамилия бабушки Лермонтова. В истории русской литературы XIX века она занимает место где-то рядом с Ариной Родионовной. Только няня Пушкина — носительница народной мудрости и фольклора. А Елизавета Алексеевна Арсеньева — хранительница патриархальной дворянской культуры, строгий и внимательный воспитатель юного и пылкого поэта. Таким образом, само имя героя тесно связывает его с традицией, с Россией первой половины XIX века.

ПОЧЕМУ АРСЕНЬЕВ УШЕЛ ИЗ ГИМНАЗИИ?

Во второй части «Арсеньева» герой внезапно, без объяснения причин, бросает гимназию — автор только сообщает об этом читателю. Но прежде в некотором смысле эмоционально его к этому готовит: предыдущие главы связаны с попыткой привлечь Арсеньева в «дворянский гимназический кружок». Одноклассник главного героя, Вадим Лопухин, предлагает ему дружбу и покровительство — «чтобы не мешаться больше со всякими Архиповыми и Заусайловыми». На деле членство в «кружке»

и покровительство Лопухина подразумевают не какую-нибудь продуктивную деятельность, а знакомство с некоей барышней по имени Наля Р., которая «прошла огонь и воду и медные трубы, умна, как бес, весела, как француженка, и может выпить бутылку шампанского без всякой посторонней помощи». Эта же Наля, по идее Лопухина, должна Арсеньева «немножко образовать». Проще говоря, привилегии гимназиста-дворянина перед «всякими Заусайловыми» ограничиваются только развязностью в поведении и сексуальной раскрепощенностью.

Сразу после ухода из гимназии Арсеньев посвящает все свое время литературе. Именно главы об этом периоде написаны в форме эссе о Пушкине, Тургеневе и других. Так что уход из гимназии — это еще и бунт: против мнимого, сугубо формального аристократизма (больше напоминающего карикатурное гусарство) ради подлинного, литературного, укорененного в традиции.

КТО ТАКИЕ ПИЛА И СЫСОЙКА И ПОЧЕМУ ИЗ-ЗА НИХ БРАТ АРСЕНЬЕВА СТАЛ ПОДПОЛЬЩИКОМ?

Во второй части, рассказывая об увлечении старшего брата идеями народничества, главный герой задается вопросом: «Что побуждало брата... весь жар своей молодости отдавать “подпольной работе”? Горькая участь Пилы

КНИГА ПЕРВАЯ

I

«Вещи и дела, аще не написанныи бывают, тмою покрываются и гробу беспамятства предаются, написанныи же яко одушевленнии...»

Я родился полвека тому назад, в средней России, в деревне, в отцовской усадьбе.

У нас нет чувства своего начала и конца. И очень жаль, что мне сказали, когда именно я родился. Если бы не сказали, я бы теперь и понятия не имел о своем возрасте, — тем более, что я еще совсем не ощущаю его бремени, — и, значит, был бы избавлен от мысли, что мне будто бы полагается лет через десять или двадцать умереть. А родись я и живи на необитаемом острове, я бы даже и о самом существовании смерти не подозревал. «Вот было бы счастье!» — хочется прибавить мне. Но кто знает? Может быть, великое несчастье. Да и правда ли, что не подозревал бы? Не рождаемся ли мы с чувством смерти? А если нет, если бы не подозревал, любил ли бы я жизнь так, как люблю и любил?

О роде Арсеньевых, о его происхождении мне почти ничего не известно. Что мы вообще знаем! Я знаю только то, что в Гербовнике род наш отнесен к тем, «происхождение коих теряется во мраке времен». Знаю, что род наш «знатный, хотя и захудалый» и что я всю жизнь чувствовал эту знатность, гордясь и радуясь, что я не из тех, у кого нет ни рода ни племени. В Духов день призывает церковь за литургией «сотворить память всем от века умершим». Она возносит в этот день прекрасную и полную глубокого смысла молитву:

— Все рабы Твоя, Боже, упокой во дворех Твоих и в недрах Авраама, — от Адама даже до днесь послужившая Тебе чисто отцы и братии наши, други и сродники!

Разве случайно сказано здесь о служении? И разве не радость чувствовать свою связь, соучастие «с отцы и братии наши, други и сродники», некогда совершавшими это служение? Исповедовали

наши древнейшие пращуры учение «о чистом, непрерывном пути Отца всякой жизни», переходящего от смертных родителей к смертным чадам их — жизнью бессмертной, «непрерывной», веру в то, что это волей Агни заповедано блюсти чистоту, непрерывность крови, породы, дабы не был «осквернен», то есть прерван этот «путь», и что с каждым рождением должна все более очищаться кровь рождающихся и возрастать их родство, близость с ним, единым Отцом всего сущего.

Среди моих предков было, верно, немало и дурных. Но все же из поколения в поколение наказывали мои предки друг другу помнить и блюсти свою кровь: будь достоин во всем своего благородства. И как передать те чувства, с которыми я смотрю порой на наш родовой герб? Рыцарские доспехи, латы и шлем с страусовыми перьями. Под ними щит. И на лазурном поле его, в середине — перстень, эмблема верности и вечности, к которому сходятся сверху и снизу своими остриями три рапиры с крестами-рукоятками.

В стране, заменившей мне родину, много есть городов, подобных тому, что дал мне приют, некогда славных, а теперь загложших, бедных, в повседневности живущих мелкой жизнью. Все же над этой жизнью всегда — и не даром — царит какая-нибудь серая башня времен крестоносцев, громада собора с бесценным порталом, века охраняемым стражей святых изваяний, и петух на кресте, в небесах, высокий Господний глашатай, зовущий к небесному Граду.

II

Самое первое воспоминание мое есть нечто ничтожное, вызывающее недоумение. Я помню большую, освещенную предосенним солнцем комнату, его сухой блеск над косогором, видимым в окно, на юг... Только и всего, только одно мгновенье! Почему именно в этот день и час, именно в эту минуту и по такому пустому поводу впервые в жизни вспыхнуло мое сознание столь ярко, что уже явилась возможность действия памяти? И почему тотчас же после этого снова надолго погасло оно?

Младенчество свое я вспоминаю с печалью. Каждое младенчество печально: скуден тихий мир, в котором грезит жизнью еще не совсем пробудившаяся для жизни, всем и всему еще чуждая, робкая и нежная душа. Золотое, счастливое время! Нет, это время несчастное, болезненно-чувствительное, жалкое.

Может быть, мое младенчество было печальным в силу некоторых частных условий? В самом деле, вот хотя бы то, что рос я в великой глуши. Пустынные поля, одинокая усадьба среди них... Зимой безграничное снежное море, летом — море хлебов, трав и цветов... И вечная тишина этих полей, их загадочное молчание... Но грустит ли в тишине, в глуши какой-нибудь сурок, жаворонок? Нет, они ни о чем не спрашивают, ничему не дивятся, не чувствуют той сокровенной души, которая всегда чудится человеческой душе в мире, окружающем ее, не знают ни зова пространств, ни бега времени. А я уже и тогда знал все это. Глубина неба, даль полей говорили мне о чем-то ином, как бы существующем помимо их, вызывали мечту и тоску о чем-то мне недостающем, трогали непонятной любовью и нежностью неизвестно к кому и чему...

Где были люди в это время? Поместье наше называлось хутором, — хутор Каменка, — главным имением нашим считалось задонское, куда отец уезжал часто и надолго, а на хуторе хозяйство было небольшое, дворян малочисленная. Но все же люди были, какая-то жизнь все же шла. Были собаки, лошади, овцы, коровы, работники, были кучер, староста, стряпухи, скотницы, няньки, мать и отец, гимназисты-братья, сестра Оля, еще качавшаяся в люльке... Почему же остались в моей памяти только минуты полного одиночества? Вот вечереет летний день. Солнце уже за домом, за садом, пустой, широкий двор в тени, а я (совсем, совсем один в мире) лежу на его зеленой холодеющей траве, глядя в бездонное синее небо, как в чьи-то дивные и родные глаза, в отчее лоно свое. Плывет и, круглясь, медленно меняет очертания, тает в этой вогнутой синей бездне высокое, высокое белое облако... Ах, какая томящая красота! Сесть бы на это облако и плыть, плыть на нем в этой жуткой высоте, в поднебесном просторе, в близости с Богом и белокрылыми ангелами, обитающими где-то там, в этом горнем мире! Вот я за усадьбой, в поле. Вечер как будто

все тот же — только тут еще блещет низкое солнце — и все так же одинок я в мире. Вокруг меня, куда ни кинь взгляд, колосистые ржи, овсы, а в них, в густой чаще склоненных стеблей, — затаенная жизнь перепелов. Сейчас они еще молчат, да и все молчит, только порой загудит, угрюмо зажуужит запутавшийся в колосьях хлебный рыжий жучок. Я освобождаю его и с жадностью, с удивленьем разглядываю: что это такое, кто он, этот рыжий жук, где он живет, куда и зачем летел, что он думает и чувствует? Он сердит, серьезен: возится в пальцах, шуршит жесткими надкрыльями, из-под которых выпущено что-то тончайшее, палевое, — и вдруг щитки этих надкрылий разделяются, раскрываются, палевое тоже распускается, — и как изящно! — и жук подымается в воздух, гудя уже с удовольствием, с облегчением, и навсегда покидает меня, теряется в небе, обогащая меня новым чувством: оставляя во мне грусть разлуки...

А не то вижу я себя в доме, и опять в летний вечер, и опять в одиночестве. Солнце скрылось за притихший сад, покинуло пустой зал, пустую гостиную, где оно радостно блистало весь день, теперь только последний луч одиноко краснеет в углу на паркете, меж высоких ножек какого-то старинного столика, — и, Боже, как мучительна его безмолвная и печальная прелесть! А поздним вечером, когда сад уже чернел за окнами всей своей таинственной ночной чернотой, а я лежал в темной спальне в своей детской кроватке, все глядела на меня в окно, с высоты, какая-то тихая звезда... Что надо было ей от меня? Что она мне без слов говорила, куда звала, о чем напоминала?

III

Детство стало понемногу связывать меня с жизнью, — теперь в моей памяти уже мелькают некоторые лица, некоторые картины усадебного быта, некоторые события...

Из этих событий на первом месте стоит мое первое в жизни путешествие, самое далекое и самое необыкновенное из всех моих последующих путешествий. Отец с матерью отправились

в ту заповедную страну, которая называлась городом, и взяли меня с собой. Тут я впервые испытал сладость осуществляющейся мечты, а вместе с тем и страх, что она почему-нибудь не осуществится. Помню до сих пор, как я томился, стоя среди двора на солнечном припеке и глядя на тарантас, который еще утром выкатили из каретного сарая: да когда же наконец запрягут, когда кончатся все эти приготовления к отъезду? Помню, что ехали мы целую вечность, что полям, каким-то лощинам, проселкам, перекресткам не было счета и что в дороге случилось вот что: в одной лощине, — а дело было уже к вечеру и места были очень глухие, — густо рос дубовый кустарник, темно-зеленый и кудрявый, и по ее противоположному склону пробирался среди кустарника «разбойник», с топором, засунутым за пояс, — самый, может быть, таинственный и страшный из всех мужиков, виденных мной не только до той поры, но и вообще за всю мою жизнь. Как въехали мы в город, не помню. Зато как помню городское утро! Я висел над пропастью, в узком ущелье из огромных, никогда мною не виданных домов, меня ослеплял блеск солнца, стекол, вывесок, а надо мной на весь мир разливался какой-то дивный музыкальный кавардак: звон, гул колоколов с колокольни Михаила Архангела, возвышавшейся надо всем в такой величии, в такой роскоши, какие и не снились римскому храму Петра, и такой громадой, что уже никак не могла поразить меня впоследствии пирамида Хеопса.

Всего же поразительнее оказалась в городе вакса. За всю мою жизнь не испытал я от вещей, виденных мною на земле, — а я видел много! — такого восторга, такой радости, как на базаре в этом городе, держа в руках коробочку ваксы. Круглая коробочка эта была из простого лыка, но что это было за лыко и с какой несравненной художественной ловкостью была сделана из него коробочка! А самая вакса! Черная, тугая, с тусклым блеском и упоительным спиртным запахом! А потом были еще две великих радости: мне купили сапожки с красным сафьяновым ободком на голенищах, про которые кучер сказал на весь век запомнившееся мне слово: «В аккурат сапожки!» — и ременную плеточку с свистком в рукоятке... С каким блаженным чувством, как сладострастно касался я и этого сафьяна, и этой упругой, гибкой

ременной плеточки! Дома, лежа в своей кровати, я истинно замирал от счастья, что возле нее стоят мои новые сапожки, а под подушкой спрятана плеточка. И заветная звезда глядела с высоты в окно и говорила: вот теперь уже все хорошо, лучшего в мире нет и не надо!

Эта поездка, впервые раскрывшая мне радости земного бытия, дала мне еще одно глубокое впечатление. Я испытал его на возвратном пути. Мы выехали из города в предвечернее время, проехали длинную и широкую улицу, уже показавшуюся мне бедной по сравнению с той, где была наша гостиница и церковь Михаила Архангела, проехали какую-то обширную площадь, и перед нами опять открылся вдали знакомый мир — поля, их деревенская простота и свобода. Путь наш лежал прямо на запад, на закатное солнце, и вот вдруг я увидел, что есть еще один человек, который тоже смотрит на него и на поля: на самом выезде из города высился необыкновенно огромный и необыкновенно скучный желтый дом, не имевший совершенно ничего общего ни с одним из доселе виденных мною домов, — в нем было великое множество окон, и в каждом окне была железная решетка, он был окружен высокой каменной стеной, а большие ворота в этой стене были наглухо заперты, — и стоял за решеткой в одном из этих окон человек в кофте из серого сукна и в такой же бескозырке, с желтым пухлым лицом, на котором выражалось нечто такое сложное и тяжелое, чего я еще тоже отроду не видывал на человеческих лицах: смешение глубочайшей тоски, скорби, тупой покорности и вместе с тем какой-то страстной и мрачной мечты... Конечно, мне объяснили, какой это был дом и кто был этот человек, это от отца и матери узнал я о существовании на свете того особого сорта людей, которые называются острожниками, каторжниками, ворами, убийцами. Но ведь слишком скудно знание, приобретаемое нами за нашу личную краткую жизнь, — есть другое, бесконечно более богатое, то, с которым мы рождаемся. Для тех чувств, которые возбудили во мне решетка и лицо этого человека, родительских объяснений было слишком мало: я сам почувствовал, сам угадал, при помощи своего собственного знания, особенную, жуткую душу его. Страшен был мужик, пробиравшийся по дубовым

кустарникам в ложине, с топором за подпояской. Но то был разбойник, — я ни минуты не сомневался в этом, — то было нечто очень страшное, но и чарующее, сказочное. Этот же острожник, эта решетка...

IV

Дальнейшие мои воспоминания о моих первых годах на земле более обыденны и точны, хотя все так же скудны, случайны, разрозненны: что, повторяю, мы знаем, что помним, — мы, с трудом вспоминающие порой даже вчерашний день!

Детская душа моя начинает привыкать к своей новой обители, находить в ней много прелести уже радостной, видеть красоту природы уже без боли, замечать людей и испытывать к ним разные, более или менее сознательные чувства.

Мир для меня все еще ограничивается усадьбой, домом и самыми близкими. Вот я уже не только заметил и почувствовал отца, его родное существование, но и разглядел его, сильного, бодрого, беспечного, вспыльчивого, но необыкновенно отходчивого, великодушного, терпеть не могшего людей злых, злопамятных. Я стал интересоваться им и вот уже кое-что узнал о нем: то, что он никогда ничего не делает, — он, и правда, проводил свои дни в той счастливой праздности, которая была столь обычна тогда не только для деревенского дворянского существования, но и вообще для русского; что он всегда очень оживляется перед обедом и весел за столом; что, проснувшись после обеда, он любит сидеть у раскрытого окна и пить очаровательно-шипящую и восхитительно-колющую в нос воду с кислотой и содой и что он всегда внезапно ловит меня в это время, сажает на колени, тискает и целует, а затем так же внезапно ссаживает, не любя ничего длительного... Я уже чувствовал к нему не только расположение, но временами и радостную нежность, он мне уже нравился, отвечал моим уже слагающимся вкусам своей отважной наружностью, прямою переменчивого характера, больше же всего, кажется, тем, что был он когда-то

на войне в каком-то Севастополе, а теперь охотник, удивительный стрелок, — он попадал в двугривенный, подброшенный в воздух, — и так хорошо, задушевно, а когда нужно, так ловко, подмываяще играет на гитаре песни, какие-то старинные, счастливых дедовских времен...

Заметил я наконец и няньку нашу, то есть осознал присутствие в доме, какую-то особую близость к нашей детской этой большой, статной и властной женщины, которая, хотя и называет себя постоянно нашей холопкой, есть на самом деле член нашей семьи, а ссорится (и довольно часто) с нашей матерью лишь потому, что это совершенно необходимо в силу их любви друг к другу и потребности после ссоры через некоторое время заплакать и помириться. Братья были совсем не ровесники мне, они жили тогда уже какой-то своей жизнью, приезжали к нам только на каникулы; зато у меня оказалось две сестры, которых я тоже наконец осознал и по-разному, но одинаково тесно соединил с своим существованием: я нежно полюбил смешливую синеглазую Надю, которая заняла свою очередь в люльке, и незаметно стал делить все свои игры и забавы, радости и горести, а порой и самые сокровенные мечты и думы с черноглазой Олей, девочкой горячеей, легко, как отец, вспыхивающей, но тоже очень доброй, чувствительной, вскоре сделавшейся моим верным другом. Что до матери, то, конечно, я заметил и понял ее прежде всех. Мать была для меня совсем особым существом среди всех прочих, нераздельным с моим собственным, я заметил, почувствовал ее, вероятно, тогда же, когда и себя самого...

С матерью связана самая горькая любовь всей моей жизни. Всё и все, кого любим мы, есть наша мука, — чего стоит один этот вечный страх потери любимого! А я с младенчества нес великое бремя моей неизменной любви к ней, — к той, которая, давши мне жизнь, поразила мою душу именно мукой, поразила тем более, что, в силу любви, из коей состояла вся ее душа, была она и воплощенной печалью: сколько слез видел я ребенком на ее глазах, сколько горестных песен слышал из ее уст!

В далекой родной земле, одинокая, навеки всем миром забытая, да покоится она в мире, и да будет во веки благословенно ее бесценное имя. Ужели та, чей безглазый череп, чьи серые кости

лежат теперь где-то там, в кладбищенской роще захолустного русского города, на дне уже безымянной могилы, ужели это она, которая некогда качала меня на руках? «Пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших».

V

Так постепенно миновало мое младенческое одиночество. Помню: однажды осенней ночью я почему-то проснулся и увидел легкий и таинственный полусвет в комнате, а в большое незавешенное окно — бледную и грустную осеннюю луну, стоявшую высоко, высоко над пустым двором усадьбы, такую грустную и исполненную такой неземной прелести от своей грусти и своего одиночества, что и мое сердце сжали какие-то несказанно-сладкие и горестные чувства, те самые как будто, что испытывала и она, эта осенняя бледная луна. Но я уже знал, помнил, что я не один в мире, что я сплю в отцовском кабинете, — я заплакал, я позвал, разбудил отца... Постепенно входили в мою жизнь и делались ее неотделимой частью люди.

Я уже заметил, что на свете, помимо лета, есть еще осень, зима, весна, когда из дому можно выходить только изредка. Однако я сперва не запоминал их, — в детской душе остается больше всего яркое, солнечное, — и поэтому мне теперь вспоминается, кроме этой осенней ночи, всего две-три темных картины, да и то потому, что были они необычны: какой-то зимний вечер с ужасным и очаровательным снежным ураганом за стенами, — ужасным потому, что все говорили, что это всегда так бывает «на Сорок Мучеников», очаровательным же по той причине, что, чем ужаснее бился ветер в стены, тем приятнее было чувствовать себя за их защитой, в тепле, в уюте; потом какое-то зимнее утро, когда случилось нечто действительно замечательное: проснувшись, мы увидали странный сумрак в доме, увидали, что со двора застит что-то белесое и невероятно громадное, поднявшееся выше дома, — и поняли, что это снега, которыми занесло нас за ночь и от которых работники откапывали нас потом весь день; и наконец какой-то мрачный

апрельский день, когда среди нашего двора внезапно появился человек в одном сюртучке, весь развевающийся и перекошенный от студеного ветра, который гнал его, несчастного, кривонногого, как-то жалко прихватившего одной рукой картуз на голове, а другой неловко зажавшего на груди этот сюртучок... В общем же, повторяю, раннее детство представляется мне только летними днями, радость которых я почти неизменно делил сперва с Олей, а потом с мужицкими ребятишками из Выселок, деревушки в несколько дворов, находившейся за Провалом, в версте от нас.

Бедная была эта радость, столь же бедная, как и та, что испытывал я от ваксы, от плеточки (все человеческие радости бедны, есть в нас кто-то, кто внушает нам порой горькую жалость к самим себе). Где я родился, рос, что видел? Ни гор, ни рек, ни озер, ни лесов, — только кустарники в лощинах, кое-где перелески и лишь изредка подобие леса, какой-нибудь Заказ, Дубровка, а то все поля, поля, беспредельный океан хлебов. Это не юг, не степь, где пасутся отары в десятки тысяч голов, где по часу едешь по селу, по станице, дивясь их белизне, чистоте, многолюдству, богатству. Это только Подстепье, где поля волнисты, где все буераки да косогоры, неглубокие луга, чаще всего каменистые, где деревушки и лапотные обитатели их кажутся забытыми Богом, — так они неприхотливы, первобытно-просты, родственны своим лозинам и соломе. И вот я расту, познаю мир и жизнь в этом глухом и все же прекрасном краю в долгие летние дни его и вижу: жаркий полдень, белые облака плывут в синем небе, дует ветер, то теплый, то совсем горячий, несущий солнечный жар и ароматы нагретых хлебов и трав, а там, в поле, за нашими старыми хлебными амбарами — они так стары, что толстые соломенные крыши их серы и плотны на вид, как камень, а бревенчатые стены стали сизыми, — там зной, блеск, роскошь света, там, отливая тусклым серебром, без конца бегут по косогорам волны неоглядного ржаного моря. Они лоснятся, переливаются, сами радуясь своей густоте, буйности, и бегут, бегут по ним тени облаков...

Потом оказалось, что среди нашего двора, густо заросшего кудрявой муравой, есть какое-то древнее каменное корыто, под которым можно прятаться друг от друга, разувшись и бегая босыми ножками (которые нравятся даже самому себе своей